Содержание

I. Почему мы многое видим, но не замечаем того, что имеет решающее значение. Почему хорошо иметь мировоззрение и как мои родители стали обладателями посудомоечной машины 7

II. Почему алчность делает сердце холодным и где живет тепло. Почему красивые женщины сплошь левые и как это связано с нашими ценностями 24

III. Почему свобода вещь трудновыносимая, а платоновская пещера остается столь желанным местом. Почему конвертиты (не) предатели, и какие претензии свечная промышленность имеет к солнцу 78

Апории левых проповедников равенства 157

Апории критиков экономизации 165

Апории справедливости достижений 179

IV. Почему детский труд — это хорошо, а *Google* не злюка. Почему банкам нужно дать укорот, а Дэн Сяопин сделал для бедных больше, чем Мать Тереза 198

(1) Primark как помощь в развитии 202

(2) «Монополия», или Страх перед Google 210

(3) Приватизированные доходы, социализированные долги 215

(4) Зависимость от протянутой руки помощи. 219

V. Какие книги были особенно важны для написания этой книги 226

VI. Какие люди были важны для этой книги 233

Указатель имен 234

I. Почему мы многое видим, но не замечаем того, что имеет решающее значение. Почему хорошо иметь мировоззрение и как мои родители стали обладателями посудомоечной машины

Мы часто не видим того, что происходит на самом деле. Или замечаем это с большим опозданием. Я, например, не заметил того факта, что 1972 год, когда я наконец-то получил свой аттестат зрелости, стал решающим событием не только для меня, но и для всей мировой истории. Мои современники этого тоже не заметили. Если бы мы это заметили, нам нужно было бы весело отпраздновать не только нашу зрелость, но и окончательное завершение послевоенной вечеринки. Лучше бы уже все равно не стало.

Именно в 1972 году с Германией распрощалось «экономическое чудо», этот исторически уникальный бум послевоенных лет, принесший немцам гарантированную полную занятость, обилие потребительских товаров и завидный ежегодный экономический рост. Отцами этого успеха были прилежание травмированного войной, поражением, бегством или пленом поколения и счастливое сочетание обстоятельств в мировой экономике. Иностранные рабочие, чьих детей мы в нашей начальной школе называли «юго» и «итакер», помогали немцам справляться с тем большим объемом работы на заводах и фабриках, который был необходим для того, чтобы удовлетворить потребительские пожелания и социальные запросы общества, добившегося материального благополучия.

Уже в конце 50-х годов мои родители могли позволить себе как минимум пол-автомобиля; вторая половина принадлежала тете и дяде, жившим за углом. Позднее, в середине шестидесятых, к радиоприемнику добавился телевизор («Nordmende»), и в конечном итоге даже еще и посудомоечная машина, которую мои родители постоянно как-то сторонились, как будто им надо было защититься от обвинений в том, что они по причине собственной лени не хотели мыть посуду руками. А вместо поездок в Австрию в пансионат с завтраком мы

в середине 60-х, как и многие другие немцы, предпочитали поездки в Римини, где при выборе такого адриатического варианта альпийского пансионата средств, к сожалению, хватало лишь для третьей линии — с видом на железную дорогу вместо моря. Но как бы то ни было: мы кое-чего добились, а я в конечном итоге — даже аттестата зрелости.

1972 год стал последним хорошим годом. После этого началось наше настоящее, каким мы его знаем сегодня. Инфляция и безработица пришли в наш мир, а рост сказал нам «до свидания». Эти далеко идущие перемены в экономической ситуации изменили и страну, и людей. Сначала появилось беспокойство, потом скепсис. А прогресс как-то испарился. Родители стали переживать из-за будущего своих детей, опасаясь того, что они не смогут сохранить достигнутый социальный статус. Многие опасаются того, что люди могут разрушить божественное творение навсегда. А там, где появляется страх, увеличивается потребность в безопасности, а готовность рисковать идет на убыль.

Прошло достаточно много времени, пока мы заметили, что все изменилось. Глубокие исторические перемены, если они не связаны с войнами, редко воспринимаются современниками сразу и непосредственно. А признаки этих перемен 1972—1973 годов проявлялись довольно слабо. Мы, правда, заметили, что в некоторые воскресные дни уже нельзя было ездить на своем автомобиле. Пустые автобаны, дети, играющие на полосе обгона, — для целого поколения это стало таким впечатляющим опытом, о котором те, кто принадлежит к этому поколению, любят рассказывать и сегодня. Но что все это означало? Мы смотрели на происходящее как на единичное явление. Ведь потом уличное движение возобновлялось в прежнем режиме.

Если и старики этого не заметили, то как могли мы, девятнадцатилетние, заметить что-то из происходящего, когда держали в руках наш аттестат зрелости, который мы, к слову, должны были забрать сами у секретаря в приемной директора школы. Не потому, что указанный директор (*«Rex»*) был настолько лишен вкуса, а потому, что наши предшественники (будь то три или четыре выпуска до нас) изгнали из школьной жизни все ритуалы празднования окончания школы

с костюмами и струнным оркестром как буржуазные атрибуты. Я после этого позволил себе взяться за изучение католической теологии и литературоведения, не имея ни малейшего конкретного представления о будущей профессии. Наличие «цели карьерного роста» — сами мы эти слова никогда бы не произнесли — не было необходимым в старом мире всеобщей занятости до 1973 года. Ведь работу и профессию люди приобретали как нечто само собой разумеющееся; так что все должно было образоваться само собой. Я хотел понять «всю мира внутреннюю связь» — и после этого его изменить и нужным образом улучшить. Ведь в конечном счете мы тогда были левыми. А тот, кто был левым, искал лучший мир. Как-то так.

С тех пор прошло больше сорока лет. Я давно уже не левый. В какой-то момент я стал либералом. С субъективной точки зрения мы, как уже было сказано, тогда, в этом 1972 — последнем хорошем — году совершенно не ощущали того, что мы живем в лучшем из миров. Если бы кто-то стал это утверждать, мы бы заклеймили его («аффирмативно», добавили бы мы) как консерватора. «Аффирмативность», почти ругательство, означала нечто противоположное критическому подходу. Тот, кто хотел быть настроен критически (а кто этого не хотел?), знал, что этот мир нужно было в обязательном порядке изменить, ибо то общество, в котором мы жили, было плохим обществом.

Для этого было достаточно посмотреть в сторону Вьетнама, где американцы вели несправедливую войну, используя свои кошмарные напалмовые бомбы. Или на Латинскую Америку, где помещики эксплуатировали простых крестьян. Или на «Третий» мир, который и после завершения эры колониализма по-прежнему эксплуатировался «Первым» миром, по причине чего живущие там люди были обречены на то, чтобы всегда оставаться бедными. Или бросить взгляд на компанию Даймлер в Унтертюркхайме, где рабочие занимались чуждым им трудом, тупо надрываясь у конвейера в цехе, стены которого по указанию («аффирмативных») психологов были окрашены в светлые тона, поскольку эти психологи в своих, служащих интересам капитала исследованиях обнаружили, что такие светлые тона мотивируют работников и делают их труд более производительным.

Короче: «система» хромала на обе ноги, политическая система была больной, а экономическая тем более. Капитализм причинял намного больше вреда, нежели обеспечивал преимущества (если таковые вообще были). Нашим стандартным примером в дискуссиях в старших классах школы были лампочки накаливания и нейлоновые чулки, которые произвольно рассчитывались капиталистами на определенный срок службы, хотя технический прогресс давно уже сделал возможным производство вечно горящих ламп и никогда не рвущихся чулок. Капитализм создает себе свой собственный спрос, встраивая в свою продукцию *извращенным* образом механизм разрушения. Какое *извращение.* Человечество давно уже было бы в состоянии полностью удовлетворить свои материальные потребности, но у капитализма в этом не было никакой разумной заинтересованности.

Экономикой мы тем не менее интересовались достаточно мало. В любом случае у нас не было такого ощущения, что для того, чтобы стать крупным критиком капитализма, было бы полезно иметь хотя бы некоторые базовые представления об экономике. Это, скорее всего, было тогда характерно для всех нас, студентов философского факультета. Вместе с Адорно мы начинали с общего целого, которое, как известно, было неверным. Тому, кто смог добраться до таких высот «негативной диалектики», не было больше нужды отправляться в низины теории экономического роста. Среди левых экономистов и социологов это уже тогда было не так; они ведь читали своего Маркса. Сегодня это определенно не так. Во всяком случае, те левые (и не только интеллектуальные протагонисты, но и умные блогеры и активисты *Attac & Co.*), участвующие в широкой дискуссии наших дней о справедливости, неравенстве и распределении, делают это явно на более высоком интеллектуальном уровне, чем мы тогда. Сегодня, когда я уже не левый, левые в интеллектуальном смысле стали сильнее. Но понятие «быть левым» включает в себя, в общем-то, достаточно много: тогда речь шла обо всем, о прорыве. Сегодня речь идет об определенных вещах: неравенстве, справедливости, глобализации и тому подобном.

О чем я намерен говорить в этой книге? То, что сегодня не дает мне покоя, это вопрос о том, на чем мы, собственно,

строим наши политические убеждения и как мы к ним приходим. Как могла возникнуть наша левая картина мира? Когда в моей картине мира появились первые трещины? И когда я стал либералом, претендующим на то, что идея свободы сегодня в состоянии лучше реализовать тогдашнюю левую утопию, но, разумеется, не таким образом, как мы хотели сделать это тогда? Эта инвентаризация воссоздает биографические процессы развития и жизненные хитросплетения, отражает вопрос о том, откуда, собственно говоря, происходят ценности, обращается к ходу современной истории и становится в конечном итоге апологией либерализма. Она обращается к презирающим его левым и представляет собой попытку если не привлечь противников на свою сторону, то как минимум убедить их в моральной серьезности. Либерализм не должен позволить морализму левых лишить его права претендовать на обладание лучшей концепцией справедливости. Обвинения в бессердечии надо страстно и умело парировать.

Нашей принадлежности к левому флангу никогда не предшествовало сознательное решение, как если бы нужно было пройти тест (или определиться с помощью своего рода общественно-политического онлайнового предвыборного приложения *«Wahl-O-Mat»*), где пришлось бы ответить на пятьдесят вопросов, чтобы в конечном итоге определиться со своей политической принадлежностью к правым, левым или либералам («зеленых» тогда еще не было). Эту принадлежность к левым наше поколение немцев, родившихся в 50-е годы, приносило с собой уже со школьной скамьи как нечто само собой разумеющееся. Конечно, мы восхищались активистами 68-го года, к числу которых мы не принадлежали. Наблюдали разговор Руди Дучке на крыше автомобиля во Фрайбурге с Ральфом Дарендорфом – эмоционально находясь на стороне Дучке – по телевизору, и, конечно, мы каждый раз были как-то опечалены тем, что активисты 68-го – это первопроходцы, которых нам уже никогда не догнать. Но зрителями, наблюдающими за происходящим из-за ограды, чтобы использовать метафору Райнхарда Мора, ни я, ни мои друзья по школе себя не ощущали. Это было бы проявлением полной пассивности. Мы хотели быть участниками. Возможно, в качестве эпигонов (хотя и это уже звучит слишком

пораженчески) или как «помощники противовоздушной обороны» движения активистов 68-го года, как считает Ульрих Раульфф, что звучит уже более адекватно, поскольку таким образом затрагивается определенный цикл повторяемости военного поколения наших отцов. Помощники сил ПВО вермахта тоже ведь отправлялись служить с полным восторгом. Нам в последний момент еще удалось принять в этом участие, и мы этим не только гордились, но и, если брать человека моего склада, были достаточно честолюбивы, чтобы искать признания у людей старшего поколения. Если бы нас сегодня назвали «попутчиками», которых тогда уже рекрутировали попутчики, то это не было бы совершенно неверно. Но меня бы это все-таки немного обидело, поскольку задним числом новые попутчики очень любят нападать на попутчиков, которые были до них.

Так во время зимнего семестра 1972 года я оказался в городе Тюбинген (недалеко от Штутгарта). Я и сейчас еще ощущаю запах осени, исходящий от уже гниющей листвы в старом Ботаническом саду, через который надо было пройти по дороге от «Медного дома», большого здания с лекционным залом, или «Клуба», в Старый город. На семинаре по лингвистике его руководитель в первую неделю семестра представился со словами: «Я Герд», что показалось мне несколько странным, поскольку до этого момента мы привыкли обращаться ко всем нашим учителям на «Вы». Хотя нет, это не так. К молодому стажеру, который преподавал политологию и историю, мы тоже могли обращаться на «ты» — и он тоже был левым, из чего уже следовало, что Герд просто обязан был быть левым, что вскоре стало еще более обязательным, поскольку наш семинар должен был в качестве основного предмета заниматься социолингвистикой — анализом языка социальных классов и языка угнетения. Одновременно с этим использование обращения «ты» должно было устранить иерархические различия. Необходимость выступать в качестве авторитета, признавать разницу между распоряжением и подчинением вызывала у многих из поколения моего руководителя семинара, истинных активистов 68-го, нешуточный страх. Они хотели быть по-настоящему равными среди равных. Они не хотели ставить оценки, ибо

это было бы проявлением власти. Они не доверяли конкуренции и рассматривали неравенство как угрозу. «Я один из вас, — хотел сказать нам Герд, — я не ставлю себя выше вас только потому, что я руководитель семинара». Это «ты» было не столько жестом демонстрации доверия, сколько проявлением внутренней потребности избежать различий. Иногда, не в случае с Гердом, это «ты» было просто отражением того обстоятельства, что руководителю семинара на самом деле нечего было сказать и нечему было научить слушателей; так сказать, проявлением настоящего равенства.

С этой арабеской, обращением на «ты», задним числом оказалась связанной амбивалентность левения (возможно, любого окружения, в котором оказывается молодой человек): От среды всегда исходит не только то облегчение, которое приносит с собой любой опыт сопричастности, но в каждом случае и принуждение, давление приспособления. Заявление, что кто-то хотел бы лучше обращаться к руководителю семинара на «Вы», не понравилось бы другим студентам. Я, например, не решился бы выступить в качестве такого аутсайдера. Скорее, я про себя проверил бы, могла ли лицензия на обращение на «ты» создать между всеми нами политическую — «содержательную» — близость, которая оправдывала бы общение на «ты» по существу.

Ролан Барт в своих автобиографических афоризмах «Ролан Барт о Ролане Барте» (*«Über mich selbst»*), пишет, что в прошлом его воображение захватывала не необратимость ушедшего времени, а несокращаемость того, что с тех времен и уже тогда присутствовало в одном человеке: «темная оборотная сторона меня самого». Она, эта сторона, приводит человека в состояние «вызывающей беспокойство осведомленности» о себе самом. В этой книге для меня, разумеется, целью является не простой взгляд назад на, в лучшем случае, захватывающую для автора, но не для окружающих жизнь, а набросок пережитого за сорок с лишним лет современной жизни, который, правда, использует местоимение «Я» ради субъективного подтверждения правдоподобности, а также для того, чтобы обозначить перспективу того места, с привязкой к которому формулируются опыт, осознание и рефлексии. Но в формулировке Барта содержится слишком

мало для моих целей, поскольку для меня речь идет не столько о «темной обратной стороне меня самого», сколько о поддающемся обобщению опыте моего поколения. Как мы для самих себя объясняем сегодня возникновение само собой разумеющегося характера левизны того времени, которая при взгляде назад именно из-за этого своего само собой разумеющегося характера имеет некие вызывающие беспокойство хорошо знакомые черты? Хорошо знакомые, поскольку мы еще хорошо помним самих себя и наши взгляды, как если бы все это было вчера: как мы, во что бы то ни стало, хотели изменить, улучшить и революционизировать общество, капитализм, церковь, политику и при этом каким-то образом добиться собственного освобождения. Я и сегодня хочу относиться ко всему этому серьезно. Беспокоит, однако, то, в какой абсурд мы часто верили, в каких догмах мы утверждались, ничего не понимая, ибо в этих фразах понимать было нечего. Беспокойство вызывает и то, как могло случиться так, что мы, выросшие с уверенностью в своем неотъемлемом праве подвергать сомнению всё и вся, не хотели или не могли подвергнуть сомнению само собой разумеющийся характер левизны.

Отсутствие сомнений в правильности левизны было тогда, очевидно, общим для всех представителей моего поколения: левая среда была для нас своего рода трансцендентально заданными рамками, внутри которых мы врастали в нашу жизнь. Мы обнаруживали себя в этих рамках, выйти за их пределы было невозможно даже в мыслях: как выглядел бы мир за их границами, из которого мы могли бы занять позицию по отношению к нашему ценностному космосу?

Мой отчет — это не еще одно, или, в крайнем случае, очень косвенное признание слишком поздно объявившегося активиста 68-го года. К исследованиям времени — научным, литературным, коллективным, индивидуальным — мне ничего добавлять не надо. Название книги «Слева, где бьется сердце» на самом деле представляет собой вопрос: как я, тогдашний средний левый, стал тем, кем я являюсь сегодня: либералом, которого многие чураются как «неолиберала», над которым насмехаются, которого ругают, а иногда и утверждают в этом качестве. Какой объем последовательности убеждений, позиций, ценностей, предпочтений нужен или

есть у одной — моей — жизни? В каком количестве перемен, разрывов, превращений по соображениям правдоподобности и аутентичности нуждается и сколько их может выдержать жизнь? Это проявление мужества или еще одна попытка примазаться к духу времени, заявить, что я сегодня больше не являюсь левым? И почему при этом существует потребность настаивать на том, что то, что было для нас важным тогда, все еще существует и сегодня, хотя и в измененной форме. Во всяком случае, я всегда охотно участвую в дискуссиях, чтобы доказать, что тогдашние «цели» гораздо более приемлемы в либеральном, нежели в левом мышлении и что вполне верно следующее изречение гарвардского экономиста Альберто Алезина: «Левым следует любить либерализм». Мысль, достаточно чуждая как минимум для немцев. Если бы у левого читателя после прочтения моей книги появилось ощущение того, что он знает, что большинство левых на самом деле являются либералами, и почему, я уже был бы очень доволен.

«Что такое левый?» — так звучит вопрос. Что осталось от левого мышления и что сегодня еще может считаться «левым»? При этом, разумеется, можно было бы спросить, почему мне вообще важно хотеть всегда как-то оставаться левым, что скорее всего связано не только с воздействиями и социализациями 70-х годов, но и с тем, что быть левым со времен Просвещения неразрывно несет с собой высокую моральную нагрузку и представляется как-то более ценным по сравнению с очевидным дефицитом утопий консерваторов или даже прагматичным лаконизмом либералов, которые почти что написали антиутопические лозунги на своих знаменах.

Что тогда, собственно говоря, было левым? Нужно освободиться от сегодняшних представлений, где понятие «левый» в большинстве случаев связывается с дискуссиями о распределении из-за растущего неравенства: о том, что богатые становятся все богаче, средние слои катятся вниз, а ножницы расширяются все больше. Тот, кто сегодня задумывается о содержании понятия «левый», думает именно о таких вещах: левые считают неравенство самой большой несправедливостью из всех, которые только можно себе представить, и думают о мерах, с помощью которых можно изменить это негативное обстоятельство — в зависимости

от собственного уровня политической радикализации они будут выступать за налоговую реформу или за революцию (что сегодня встречается реже) или за какой-нибудь промежуточный вариант. «Левый», как можно было бы сказать, это сегодня социально-философская опция.

Об этом мы тогда не задумывались. Или не задумывались об этом в первую очередь. Быть «левым», надо это сформулировать в такой осторожной форме, означало нечто вроде ощущения и выражения собственной жизни. Позицию, которая давала нам ощущение общности. «Левый» означало обещание лучшего мира, которое мы давали друг другу. «Эссе об освобождении» *(«Versuch über die Befreiung»)* — так звучит главный тезис, который нам дал Герберт Маркузе. Один мой старший друг порекомендовал мне эту маленькую книжечку издательства *Suhrkamp* еще в старших классах школы. Я тогда проглотил ее одним махом. Там содержалось выражение «репрессивная толерантность», которое должно было означать, что наше общество особо коварным образом лишает нас возможности знать наши истинные потребности. А именно, навязывая нам с помощью чар всех тех товаров, которые только существуют, фальшивые потребности. Капитализм каким-то образом не дает никому из нас возможности прийти к самому себе и быть с самим собой. Что-то пошло не так, провозглашал Маркузе. Такие слова находили во мне отклик. Такие слова находят отклик в молодых душах во все времена. Один раз Маркузе добрался и до Тюбингена; это случилось, скорее всего, во время летнего семестра 1974 года. Весь Большой лекционный зал был забит до отказа. Я и сейчас еще вижу его перед собой — очень приятный образ, на нем белая рубашка и широкие светлые помочи. Все это выглядело как-то старомодно и одновременно по-калифорнийски.

Я сейчас еще раз просмотрел маркузовское «Эссе об освобождении». И был неожиданно странным образом удивлен. Тон показался мне знакомым, даже симпатичным. Речь идет о том, чтобы «воздвигнуть царство свободы, которое не есть царство современности: освобождение от свобод эксплуататорского строя — освобождение, которое служит построению свободного общества». Конечно, жаргон эксплуататорского строя я сегодня использовать бы уже не стал. Но свобода?

Маркузе, который свел воедино Фрейда, Ницше и Маркса, называет свободу состоянием, при котором «больше не надо стыдиться себя самого». Прекрасная мысль, или? Людей надо избавить от закабаляющего их труда, не приносящего им удовлетворения, но при этом надо высвободить и их извращенные инстинкты. Тон, которым пользуется Маркузе, занимает место где-то между Марксом, французскими сюрреалистами и освобождающим опытом джаза, рок-н-ролла и марихуаны (для этого я был слишком послушным юношей).

То, что он, старый человек, участник Первой мировой войны, и молодые люди в Беркли мечтали каким-то образом об одном и том же, сам он называет «коинциденцией». Маркузе, еврейский эмигрант из Германии, преподававший в Сан-Диего, штат Калифорния, писал о праве человека быть счастливым. Это мы тогда называли «левым». И что для этого необходим акт освобождения, было нам понятно. Нас больше привлекал дух бунтарства, нежели политическая составляющая. Речь шла о борьбе против «истеблишмента», против авторитетов, против «отчуждения», которое имело мало общего с марксовым ясным аналитическим понятием, скорее с достаточно путаными, бурлящими, неясными мыслями, как об этом в резко-критическом тоне говорит американский левый интеллектуал Ирвинг Хауи в своем эпохальном сочинении «Новые стили в левачестве» *(«New Styles in Leftism»)*, вышедшем в 1965 году: новые левые воплощают собой стиль того, как надо одеваться, говорить, работать. И еще специфическую культуру легкого отношения к жизни.

Эта, можно сказать, англо-американская бодрость, освобождающаяся от всего, что ей мешает, нам тогда очень нравилась. Моим музыкальным героем в школьные годы был не мягкий Пол Маккартни или жесткий Мик Джаггер, а — в блеске меньшинства — анархический Рэй Дэвис, предводитель группы *«Kinks»*. Единственное их произведение, ставшее в Германии хитом номер один, называлось *«Dandy»*: это не была реально левая революционная песня — но все-таки песня бунта в стране экономического чуда. «Денди, денди, ты ухаживаешь за всеми девушками/они не в силах противиться твоей улыбке / О, они тянутся к денди...» Много томления. «Ты всегда будешь свободным». Того «преданного

приверженца моды», которого группа воспела в другом своем хите, тоже нельзя по-настоящему интерпретировать как объект язвительной критики потребления, в крайнем случае это деликатное ироничное подтрунивание. Темой образа денди я позднее занимался во всех деталях, а именно в диссертации о литературе «Fin de Siècle» — конца века.

Читая дальше «Эссе об освобождении» Маркузе, встречаешь и проявления восхищения в адрес Кубы, Вьетнама и «культурной революции» в Китае. Тут возникает чувство неловкости — или хуже, когда думаешь об огромном числе человеческих жертв, ответственность за которые несет Мао. Позднее Маркузе уже не пользовался таким высоким авторитетом, вероятно, потому, что он был так легок для понимания. Позже мы читали Адорно и Пауля Целана. Мы, правда, понимали там намного меньше, но зато все звучало весомее.

Для замкнутых сообществ характерен совершенно определенный вид слепоты. «Что видно и чего не видно» *(«Was man sieht und was man nicht sieht»)* относится не только к тому, что мы не смогли увидеть эпохальные сдвиги 1972/1973 годов. Мы видели и восхищались тем, как социалист и коммунист Сальвадор Альенде в 1973 году пришел к власти в Чили не с помощью кровавой революции, как в России в 1918 году, а в результате проведения демократических выборов. И Пабло Неруда был для многих из нас героем, вторым сразу после Маркузе. А вот чего мы не видели — или не хотели видеть — было то, что Альенде, намного быстрее, чем все коммунисты в ГДР или в СССР, в течение всего нескольких месяцев привел свою страну в состояние экономической разрухи, а людей обрек на горькую нищету.

Меня интересуют такие интеллектуальные картинки-загадки. Очень долго не удается рассмотреть вторую фигуру. Но если ее наконец-то удалось увидеть, она начинает казаться почти что собственно доминирующим элементом изображения, и нужно приложить усилия, чтобы вызвать в памяти прежнюю картинку. Как вообще можно было увидеть в этом преступнике Мао что-то положительное? Схожее со случаем с Альенде, только в перевернутом зеркальном отображении, произошло годом позже, в 1974 году: моя мама, женщина, далекая от политики, которая, однако, знала, что меня инте-

ресовали политические дебаты, подарила мне «Архипелаг ГУЛАГ» советского «диссидента» Александра Солженицына, эта книжка в синей бумажной обложке и сейчас еще у меня перед глазами. Не читая, я поставил книгу в книжный шкаф, немного даже стыдясь того, что бы произошло, если бы друзья и сокурсники обнаружили эту книгу у меня на полке. Из страха перед «аплодисментами не с той стороны» (охотно используемая идеологически иммунизирующая формулировка) мы отказывались участвовать в обсуждении преступлений коммунизма. Из-за того, что мне тогда было стыдно перед моими друзьями, мне сегодня стыдно перед моей мамой из-за того, что я тогда внутренне отверг ее подарок. Стыд — это воспоминание, очень тесно связанное с телом. Именно его, видимо, имеет в виду Ролан Барт, когда говорит, что состояние «вызывающей беспокойство близости» при последующем взгляде на собственное детство и юность требует связи с тем, что представляет собой “Оно” моего тела». Нужно попытаться представить себе это, даже если это бесперспективное дело. Речь идет о своего рода интеллектуальной морфологии: как и почему меняется коллективное восприятие одних и тех же событий? Но и: почему оно в одних случаях разрушает картинку-загадку, а в других нет?

Необходимо откорректировать представление о том, что взгляд в прошлое с сегодняшних позиций обладает тем абсолютным знанием, исходя из которого мы можем рассматривать примиряющим взглядом обе стороны картины: что мы тогда видели и думали и что мы тогда не замечали. Это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой. Даже чисто теоретически мы должны исходить из того, что мир и сегодня имеет образ картинки-загадки и мы различаем только *одну* фигуру (молодую девушку? старую женщину?) амбивалентности.

Марк Лилла, который в Колумбийском университете в Нью-Йорке преподает историю политических идей, называет это слепое пятно «амнезией настоящего времени». Он говорит так не только в том общем смысле, в котором любому настоящему недостает понятий для самого себя, но и в некоем вызывающем особое сожаление смысле, согласно которому нам сегодня недостает идеологий. Если раньше, говорит он,

существовала «ностальгия по будущему», различные историко-философские проекты, с использованием которых левые и консервативные проповедники всеобщего блага вели друг с другом ожесточенные идеологические бои, то сегодня мы находимся в «нечитаемой эпохе», которую он называет «либертарной». Либертарным в ней он считает состояние слепого безвременья и отсутствия понятий, забвение бытия, для которого приемлемо всё и вся.

Можно на самом деле пожалеть о том, что слово «идеология» приобрело такую негативную окраску, что оно теперь используется только в отрицательном плане. Хуже сложилась лишь судьба прекрасного слова «мировоззрение», которого у сегодняшнего просвещенного современника не должно быть ни в коем случае. При этом мне всегда хочется спросить моих собеседников, как и откуда они взирают на мир. Точно так же и мои собеседники имеют право на то, чтобы знать мое мировоззрение. Но что в этом вызывает возражения? Субъективность точки зрения? Как будто существует возможность иметь позицию без точки зрения. Как будто это вообще было бы желательно.

Я признаюсь в том, что я пишу идеологическую книгу. Но я также хочу знать, как у людей появляются их идеологии (мировоззрения) и что побуждает их менять эти последние и что они из всего этого вместе с тем хотят сохранить. Лилла называет «любопытство» и «тщеславие» (*«curiosity»* и *«ambition»*) интеллектуальными страстями левых, которые мы за прошедшее время утратили. Это два мощных живых стимула и чувства, в которых я и сам узнаю себя с гордостью, которую я охотно разделил бы с теми представителями моего поколения, кто и сегодня еще считает себя левым. Конечно, когда эти страсти прорывались наружу с излишней силой, становились слишком воинственными, слишком ретивыми, левое мировоззрение превращалось в догму. Переход от идеологии к догматизму всегда происходит в плавном режиме. Догматизм — это когда мировоззрение отгораживается от жизни, более не реагирует на феномены, становится неспособным к самокоррекции и пустым. Соблазн догматизма либеральному учению чужд не менее, чем левому мессианству, хотя или именно потому что либерализм охотно пред-

ставляется скептичным и прагматичным. Это может быть неким теологическим остатком, которому подчиняется все идеологическое.

Лилла объясняет свой меланхолический диагноз текущей амнезии, в частности, тем, что вопрос «Что осталось от нашей левизны?» *(«what's left of the left?»)* после 1989 года и краха социализма больше не задавали ни сами левые, ни кто-то другой. Ибо в 1989 году мир пережил одну из самых крупных неожиданных шоковых ситуаций новейшей истории. До сих пор остается в принципе неясно, как могло случиться так, что многие когорты современников не видели или не хотели видеть, насколько в экономическом и политическом отношении прогнили страны социализма, как мощно и спонтанно проявилось стремление этих народов к свободе. Часто цитировалась та поездка шеф-редактора газеты *Die Zeit* Тео Зоммера в ГДР, когда он еще весной 1986 года покровительственным тоном засвидетельствовал этому социалистическому государству, что оно находится на хорошем, стабильном пути и обеспечивает своим гражданам не только равенство, но и растущий уровень благополучия. Западногерманские экономические исследовательские центры также проглядели приближение экономического краха восточногерманского государства, а вместо этого разглагольствовали о конвергенции, в процессе которой обе экономические системы якобы двигались навстречу друг другу.

Я сам могу добавить сюда личную историю, вызывающую чувство стыда: летом 1989 года я по приглашению тамошнего правительства участвовал в продолжительной и организованной на широкую ногу поездке группы журналистов по Индонезии. Штефен Эрлангер, коллега из *New York Times,* спросил — это было уже после так называемого «европейского завтрака» на германо-венгерской границе и после того, как левокатолический реформатор Тадеуш Мазовецкий возглавил правительство в Польше, — могу ли я объяснить ему слухи о предстоящем воссоединении Германии. Вопрос стал для меня полной неожиданностью. С умным видом я разъяснил коллеге, что никто из представителей молодого поколения в Федеративной республике не заинтересован по-настоящему в воссоединении, что все это не следует воспринимать

всерьез. Это было примерно за три месяца до падения стены где-то в отеле на душном жарком острове Бали и находится на самом верху в рейтинге вещей, за которые мне стыдно. Ибо мой ответ, что еще более усугубляет ситуацию, был еще и абсолютно честным. Для меня (нас), в отличие от упертых ГКПистов, ГДР не представляла никакого интереса. Так далеко наша левизна все-таки не простиралась.

На противоположном берегу Эльбы для нас тогда сразу начиналась Сибирь. А кого тянет в Сибирь? Мы на каникулы ездили во Францию или Италию, знали разницу между *Maremma* и *Chianti Classico*. Но отличить Тюрингию от Саксонии мы не могли. Странно, что левые так мало интересовались левой практикой. Возможно, тогда я даже не остановился бы перед тем, чтобы заявить, что ГДР и левое движение не имеют одно с другим ничего общего. К «Эссе об освобождении» Герберта Маркузе страна Ульбрихта и Хонеккера на самом деле не имела никакого отношения. Одна моя знакомая пара — они на несколько лет старше меня и придерживаются левых убеждений — в 1990 году вместе с тремя детьми впервые отправилась в путешествие на восток. Родители ностальгически восхищались «миром прошлого», который там везде еще можно было видеть и аромат которого везде можно было почувствовать, тем миром, который им прежде был совершенно безразличен. Они романтизировали упадок как эстетику декаданса, передвигались по своего рода музею под открытым небом, не испытывая никакого сочувствия к людям, которые там именно в этот момент переживали банкротство своего общества, своей экономики, в чем-то и своей жизни. Дети этих моих друзей из числа «старых левых» хныкали на заднем сиденье и требовали мороженое, солнце и пляж, т.е. хотели путешествовать по Италии, а не по разрушенному музею под названием «Германия». Сразу по ту сторону Эльбы на самом деле начиналась Сибирь.

Могло ли случиться так, что шок и стыд из-за неожиданного краха социализма способствовали тому, что мы уже больше не стремились к поиску взаимопонимания по поводу метаморфоз левого мышления и его альтернатив? Тот, кто провозглашает «конец истории» и для этого без раздумий готов растоптать историко-философскую левую утопию

(«ностальгия по будущему»), которой вдохновлялись целые поколения, не должен удивляться по поводу «амнезии настоящего времени». При этом подозрение в амнезии касается как консерваторов и либералов, так и той поседевшей буржуазии, которая по-прежнему считает себя левой, поскольку это самонаименование улучшает моральный настрой.

Еще раз: почему мы тогда были левыми? Что из этого сохранилось? Почему другие позднее не стали левыми? Почему для многих расстаться со старой верой или придать ей новые, более зрелые формы оказалось не так трудно, как мне? И как далеко моя сегодняшняя позиция влечет меня самого, и насколько она может убедить других или как минимум подвигнуть их к участию в полемике?

Инвентаризация — трезвый процесс, который, однако, не оставляет человека безучастным. Тот, кем я являюсь сегодня, приветствует того, кем я когда-то был. Встреча с самим собой по прошествии сорока лет не всегда протекает просто. Речь идет о прожитом, но необязательно понятом отрезке современности. Биографии других людей — частью несколько старше, частью несколько моложе меня, — о которых рассказывается в разных частях книги, должны помочь внести ясность в диковинное хитросплетение как типичных для когорт, так и исключительно индивидуальных взглядов.

«Вот мой блокнот, моя плащ-палатка, мое полотенце и нитки мои», — говорится в конце стихотворения Гюнтера Айха «Инвентаризация» (1945). Речь идет о том, чтобы воспринять чью-то историю, как свою. Надежда на то, что этот опыт даст толчок параллельным процессам восприятия.

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru